

Памеранцу Григорий
Соломонович

22.01.03

59.

ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ:

Я верю в Дон Кихотов, которые остаются дома

Россия — страна непредсказуемая. Причем не только для иностранцев, но и для собственных граждан. Сейчас, когда в начале года россияне с интересом ждут, какие еще сюрпризы он им преподнесет, мы побеседовали с известным философом и культурологом, фронтовиком, узником сталинских лагерей, "инакомыслящим" в брежневскую эпоху, писателем Григорием ПОМЕРАНЦЕМ о его опыте выживания и формирования себя, собственной личности в нашей стране.

— Григорий Соломонович, за последнее десятилетие мне не раз приходилось слышать от знакомых, как все им здесь надоело, что все перемены в России только к худшему, что тут невозможно реализоваться, полностью использовать свой дар, свой талант и единственный выход — куда-нибудь уехать. Скажите, у вас такого желания никогда не возникало?

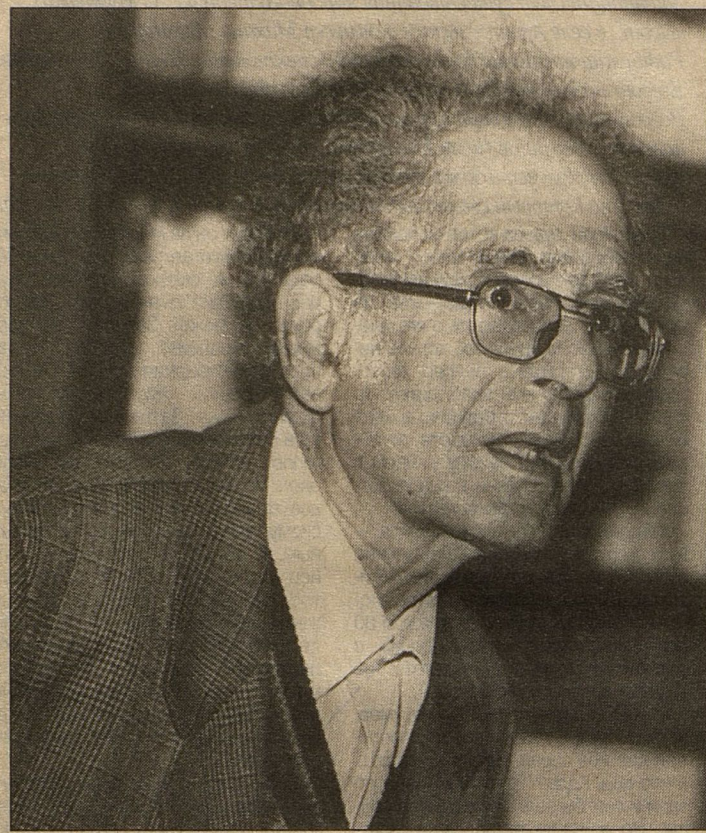
— Лично я колебался, ехать или не ехать, в начале семидесятых годов. Многие мои друзья рванули за рубеж, и надо сказать, что соблазн был. Меня убеждали, что там и возможности для работы лучше, и печататься смогу. Наверное, в самом отчетливом виде я повторно сформулировал для себя эту проблему уже в споре с Борисом Хазановым. У него есть эссе о том, что хорошо бы на каком-нибудь безземном острове собрать тысячу творцов русской культуры и спокойно там ее творить — без всего того, что нас здесь, в России, мучает. Я тогда, прочитав это его опубликованное на Западе произведение, возразил, что без реального чиновника Мармеладова, в пьяном виде попавшего под колеса, не было бы "Преступления и наказания". Что русская литература, русский язык органически связаны с Россией. Я, когда читал "Вторую книгу" воспоминаний Надежды Яковлевны Мандельштам (кстати сказать, с трудом, мне там многое не нравилось), обратил внимание на то, как Осип Мандельштам расцвел, приехав из Грузии, кажется, в Ростов и снова услышав на улице русскую речь. Для человека, который работает в русском языке, говорящая по-русски среда, приносящая какие-то новые, которых не было раньше, выражения, совершенно необходима. Именно в этой стихии разворачивается его дух. В эмиграции, может быть, комфортнее жизнь, но...

Кроме того, в узеньком интеллигентском кружке бесконечно больше борьбы самолюбия, зависти и прочего, чем у обычных людей. Удачным примером здесь может служить театр. У меня мать была актрисой, и я немножко знаком с театральными кулисами. Каждый актер уверен, что он может сыграть Гамлета, и никто не считает, что достоин только роли могильщика. Любой чужой успех вызывает зависть. Еще я посе-

щал в свое время заседания секции переводчиков — моя жена, поэт Зинаида Александровна Миркина, брала меня туда как опору, потому что там просто давила сгущенная атмосфера больных самолюбий. Каждый переводчик считал себя ну по меньшей мере Бродским, которого недооценили, и тоже мучился от малейшего успеха своего соседа. Поэтому такая вот неестественная концентрация творческих людей, собранных в одном месте и связанных с русским языком профессионально, возможно, в чем-то даже еще болезненней, чем самая больная, но нормальная жизнь, нормальная в том смысле, что тебя окружают инженеры, учителя и так далее (например, я работал 20 лет среди библиографов, это хорошие, умные люди без чрезмерных претензий). И вот эта обычная человеческая жизнь органически связана со всем великим, что было и будет когда-нибудь сказано на русском языке.

Мне давно стало ясно, что я не отошусь к тем гениям, которые могут, как паук, ткать из себя всю свою паутину. Моя работа — это отклик, отклик на то, что меня ранило или восхищало. Я настроился на здешние волны, мне надо было бы прожить еще одну жизнь в другой стране, чтобы откликаться на то, что в ней происходит. Причем это не врожденное. До семи лет я рос в совершенно другой культурной атмосфере — в полувосточной по составу населения и совершенно еврейской для меня Вильне, что сейчас называется Вильнюсом. Русский язык стал для меня основным годам к семи. Но то, что было в детстве, оставило во мне только некоторые следы, внесло определенную сложность в мое восприятие мира, но не может утратить того факта, что основная моя культурная ориентация — русская, и куда бы я ни уехал, я только ее увезу с собой, и американской в моем возрасте она не станет.

Помню, как мы с друзьями еще в 50 — 60-е годы спорили и в конце концов пришли к выводу, что поэту надо оставаться в стране, где говорить на том языке, на котором он пишет. Судьба уехавшей Цветаевой оказалась более трагичной, чем судьба оставшейся Ахматовой, которой никогда не было так безнадежно одиноко в России, как Цветаевой в эмиграции.



Г. Померанц

— Но стоящие перед вами проблемы ведь не сводились только к "печататься — не печататься"?

— Да, моя жена говорила, что мы живем на полке у сытого людоеда, который не торопится нас скушать. Но, как вам сказать, я еще на войне привык к риску, и он меня не пугал. А самых крайних ситуаций я по возможности избегал. Вместе с тем мне хотелось показать пример жизни среднего человека в этой стране, который не боится совершать какие-то поступки, прозябшие, в сущности, только мелкими неприятностями. Ну, сорвут защиту диссертации, будут держать тебя на какой-то технической работе, бить тебя рублем, так что придется считать каждую копейку, и т. д. Я на это шел. И одновременно сохранял за собой свободу слова. Мне казалось полезным и нужным дать такой пример, не уезжая на Запад, где, понимаете, все подобные проблемы сразу снимаются. Мне хотелось решать их здесь.

— А вы не думали, что вас просто посадят? Для этого не всегда были нужны серьезные основания.

— В моей жизни был только один такой момент. Я печатался за рубежом, но с самого начала, еще с 60-х годов, избрал для себя открытость и одновременно некую саморедактуру. Писал под собственным именем,

так что искать меня, как Синявского, не надо было, вместе с тем писал в известной мере эзоповым языком, чтобы состав преступления найти было трудно. Чтобы, условно говоря, не под закон — нельзя говорить о законности при Советской власти, — но под юридическую практику политическую чтоб это не подходило. И мои рукописи, мои произведения у друзей, у читателей, которых я даже не знал, неоднократно изымались, но мне известен только один случай, когда их включили в "состав преступления" заодно с другими материалами: у человека нашли кучу самиздата и его посадили. Но то было в Барнауле. А уровень законности барнаульской я никак не мог учитывать. Исходя же из моих представлений о Москве и отчасти о Питере, за что я писал, не только меня, вообще никого не должны были посадить. Хотя один раз настал момент, когда я рискнул всем, рискнул серьезно. Это произошло в 80-е годы, когда начали показывать по телевизору примерное раскаяние диссидентов. Помню тошнотворное впечатление от самобичеваний Дудко, именно тогда я почувствовал необходимость высказаться открыто. Раньше я совершенно спокойно принимал, что нахожусь, так сказать, на второй линии огня. Первая линия — это издание "Хроники прав челове-

ка", выход на Лобное место и так далее... А я лишь обдумываю то или иное событие и через несколько месяцев пишу свои эссе, находя формы высказывания, которые содержат в себе не только философский и исторический смысл и вместе с тем путевкой прямо в кутузку не являются. Но тут я почувствовал, что, кроме меня, больше выступать никому. Сахаров был в ссылке, всех диссидентов пересажали, и мне вспомнилась сказка Щедрина "Литератор Крамольников". "Все молчит, только камни вопиют". И тогда я написал эссе "Акафист пошлости" и после некоторых колебаний решился отправить за границу. Там я немножко поддерживал его, потом доработал еще раз и, наконец, дал разрешение напечатать. Сознывая, что за это меня вызовут на Лубянку.

— А где именно вы его опубликовали?

— В "Синтаксисе" Розановой и Синявского. И закончил эссе я прямым упреком КГБ, что демонстрировать сломленных людей — значит растлевать своими действиями народ. Я, конечно, понимал, что за это меня по головке никто не поладит и какой-то скандал будет. Но по военной привычке попытался все учесть и считал, что это не безнадежно посадка, а только риск. И что пока не сделал то, что должен, я не имею права отступать. И я рискнул. Не берусь судить, случайно или нет, но меня вызвали, чтобы промывать мозги, на Большую Лубянку во время гипертонического криза, в довольно плохом состоянии, с давлением 220 на 100. Такая процедура называлась "предупреждением".

Не знаю, понимаю ли современные молодые читатели, что это значит. Подобные меры применялись обычно к людям, которых не совсем удобно сразу взять да и посадить. Так, поэт Чичибабин "предупреждался" и остался на родине — на Украине, поэт Коржавин "предупреждался" — и уехал. Понимаете, я считал, что скорее всего меня вызовут и предупредят. И уж когда меня предупредят, я благодарно смогу несколько отступить. Так оно и произошло.

И там я пообщался, что от прямых политических выступлений отказываюсь, но право печататься за границей по вопросам литературы и философии за собой сохраняю, и указал, какие журналы и где меня публикуют. Таким образом я отчасти даже санкционировал в КГБ издание статей подобного характера. То есть выбрал путь, прямо противоположный пути Синявского, который пытался надуть КГБ и только их раздражал. Дальше я отправил за рубежом письмо, в котором сообщал, что у меня был вызов в органы, на основании чего я прошу не печатать такое-то эссе. Само послание было не-

очень уж важным, но мне было любопытно, пропустят они его или нет. Пропустили. Оно дошло до Мюнхена, и журнал "Страна и мир" его опубликовал.

— Вы послали письмо через знакомых?

— Нет, нет, я послал через КГБ, то есть через советскую почту, зная, что копия будет немедленно отправлена в КГБ. В результате я по возможности постарался превратить операцию по, так сказать, лишению меня чувства собственного достоинства в деловое соглашение: то-то я вам обещаю, то-то нет. Конечно, это легко сказать и трудно выполнить. Из-за очень сильного морального давления, которому я подвергся во время "предупреждения", у меня на другой день начались какие-то странные процессы в мозгу. Постоянно появлялась перед глазами фигура следователя, который неокончательно разросся и стал похожим на Бармалея. Я почувствовал, что дело может кончиться болезненным срывом. И тогда я с таким чувством, которое бывает в отчаянном положении, стал молиться: "Господи, останови мои мысли". Это ужасно трудно — держать ум в словах молитвы. Через час, когда я встал, то был совершенно спокоен, чувствовал прилив творческих сил, а на следующее утро сел продолжать свои "Записки гадкого утенка". Да, еще я вскоре санкционировал печатание за границей своей книги "Сны земли". Публикация ознаменовалась обыском, только не у меня дома, а в квартире моей приятельницы, у которой собралось гораздо больше моей машинописи, чем у меня самого. (Хочу признать здесь собственную вину, что необходимую им информацию они просто получили из наших телефонных разговоров.) А "Записки гадкого утенка" я писал главу за главой и прятал написанное на даче в поленище. Но все это произошло уже после того, как я преодолел в себе то чисто болезненное чувство, возникшее, когда я в состоянии криза подвергался психической обработке.

— Обработка была очень сильной?

— Как вам сказать... Все-таки меня напугали. Причем не только "они", но и родные, которые начали доказывать, что я вел себя как идиот. А я сделать глупость боюсь, наверное, больше, чем чего-либо другого. Хотя это и не мешает мне их делать.

— А чем вам угрожали?

— Ну угрожали, конечно, применением статьи 190 часть 1 — это 3 года лагерей. Чего для уже больного человека вполне достаточно. И как только я преодолел страх, то сразу почувствовал себя помолодевшим. Ну как на фронте я подымался и шел под огнем, вот так же весело и легко я писал "Записки гадкого утен-

ка". Впоследствии, правда, одну главу пришлось переделать, о своей диссидентской, так сказать, биографии — об этом периоде я тогда не мог в открытую сказать все, что хотел, и в 90-м году слегка ее расширил. А остальное как написано, так написано и так сейчас напечатано, кто захочет, может прочитать. Ведь обстановка риска, понимаете, — она даже увлекала. В своих воспоминаниях Григоренко упоминает такой характерный послевоенный эпизод. Он услышал выстрелы и увидел, как двое офицеров стреляют друг в друга из пистолетов. И оба были ранены. Причем они вовсе не поссорились, а просто им захотелось снова почувствовать себя под огнем. Это кажется идиотством, но тот, кто был на фронте и испытал радость преодоленного страха, тот поймет, что это такое. Вовсе не я один считаю скучной жизнь совсем без риска.

— Потом были еще какие-то вызовы или просто вы писали, а они читали?

— В течение долгого времени после этого я чувствовал себя в осаде: взламывали мой почтовый ящик, да и вообще они со мной совершенно не церемонились и вели себя так, будто все равно меня скоро посадят, поэтому можно не обращать внимания на самые элементарные вещи. Например, мне присылают из-за границы книги — они не доходят. А обыск после выхода "Снов земли" был произведен, заметьте себе, уже при Горбачеве. Но это были последние всплески активности режима, очень скоро обстановка в стране стала меняться. Запрещение же меня печатать действовало с 76-го года по 87-й включительно. Оно вообще никем не отменялось и было фактически вложено лишь в 88-м году, когда сразу два журнала набрались смелости меня опубликовать. За десять лет меня забыли основательно, молодежь меня просто не знала, а самиздат был подавлен еще Андроповым — он был самым ревностным служакой в своей области. В общем, в 70 лет — мне как раз исполнилось 70 — я снова начал пробиваться в жизнь. И я нахожу, что жизнь эта интересная и обменять ее на другую не хотел бы. Еще после 90-го года я впервые после войны, когда прошел с армией по Европе, оказался "выездным", и мне впервые понадобились языки, которые никогда ранее я не имел возможности употреблять в устной речи и знал только литературно, то есть читал на них, но не разговаривал. Постепенно начал говорить — сперва по-немецки, а потом с ошибками и по-английски. Завел себе новых друзей, с которыми сейчас переписываюсь. В общем, жизнь стала богаче оттенками. И я по-преж-

нему держусь того, что жить интересно здесь. А в остальном... Ну, понимаете, кого и чего мне бояться? Я не разбогател, поэтому для бандитов совершенно непривлекателен. И не играю никакой политической роли — и тоже не могу, так сказать, быть здесь мишенью.

— Стоявшая тогда перед вами задача обретения и сохранения себя в тоталитарном обществе, слава Богу, снята с повестки дня, но легче ли и проще решаемы проблемы, которые ставит перед нами нынешнее время?

— Сейчас тех проблем нет, но по-прежнему есть проблема опоры на свою собственную глубину. И я не думаю, что она в России решается труднее, чем в других странах. Наоборот, русские обнаженные противоречия толкают к внутреннему поиску. Сравнительно гладкая поверхность западной жизни — я все-таки теперь повздил немножко, с чем-то сталкивался — позволяет легко удовлетвориться этой поверхностью. Именно поэтому многие на Западе хорошо понимают: чтобы достичь некоторой глубины, нужно рискнуть оказаться без всякой почвы под ногами.

Меня очень привлекает дальневосточная традиция, согласно которой пустота является знаком высшей ценности, потому что имеется в виду та бездна, окунувшись куда, человек находит в себе второе дыхание, у него как бы раскрываются крылья, и он начинает летать. Поэтому хаос меня — в хорошем смысле слова — провоцирует. Надеюсь, что в России окажется достаточно людей, которые такую провокацию сумеют принять, и выдержать, и достичь глубин, не затрагиваемых внешними катастрофами. И подобных людей и в молодом поколении встречал. А как-то я разговаривал с педагогом, проводившим конкурс молодых учителей, работающих в деревне. Он рассказывал, что в основном это настоящие подвижники, Дон Кихоты, которые замечательно ведут работу в совершенно немыслимых, казалось бы, для цивилизованного человека условиях. И вот на остающихся дома Дон Кихотов у меня и есть надежда. В них — сохранение живого духа культуры.

Я верю, что такие спонтанно возникающие фигуры у нас не пропадут и что ниточка культуры не прервется. А удастся ли построить, опираясь на эти искорки культуры, более-менее сносную жизнь для всех прочих, остается вопросом открытым.

Беседа вел
Павел НУЙКИН

Фото
Владимира БОГДАНОВА